



**НЕСОВЕТСКОЕ ДЕТСТВО В ВОЛОГОДСКОЙ ДЕРЕВНЕ:
РАССКАЗЫ О ПРОШЛОМ И КУЛЬТУРНАЯ ГЕОГРАФИЯ
ПОЗДНЕГО СОЦИАЛИЗМА**

Татьяна Юрьевна Воронина

Независимый исследователь

Гренхен, Швейцария

voronina1977@gmail.com

Аннотация: Статья посвящена образу «сельскости» в рассказах о детстве в вологодских деревнях позднего социализма в 1960–1970-е гг. Меня интересует, как принадлежность к городской или сельской культуре воздействует на воспоминания и осмысление сельской повседневности позднего социализма и современную идентичность жителей Вологодской области. В основе исследования — анализ интервью с людьми, выросшими в сельской местности Вологодской области в 1960–1970-е гг. и впоследствии переехавшими в города и поселки городского типа. Анализируя нарративные описания детского труда, сельских ландшафтов, природы и представлений о модерности, я прихожу к выводу о существовании разных дискурсивных моделей, использованных респондентами в рассказах о сельском детстве, и связываю их появление с местами социализации людей и выбором принадлежности к той или иной культуре. Методологической основой статьи стала теория модерности, благодаря которой в обществе закрепляется определенное видение будущего и создаются иерархии социальных групп, по-разному размещенных на шкале прогресса. Также в своем анализе я использовала концепции из области культурной географии и нарративного анализа интервью.

Ключевые слова: сельскость, нарративы, детство, поздний социализм, деревня.

Для ссылок: Воронина Т. Несоветское детство в вологодской деревне: рассказы о прошлом и культурная география позднего социализма // Антропологический форум. 2025. № 64. С. 248–276.

doi: 10.31250/1815-8870-2025-21-64-248-276

URL: <http://anthropologie.kunstkamera.ru/files/pdf/064/voronina.pdf>

**NON-SOVIET CHILDHOOD IN A VOLOGDA VILLAGE:
NARRATIVES OF THE PAST AND THE CULTURAL GEOGRAPHY
OF LATE SOCIALISM**

Tatiana Voronina

Independent researcher

Grenchen, Switzerland

voronina1977@gmail.com

Abstract: The subject of this paper is to examine how “rurality” is represented in accounts of childhood in Vologda villages during late socialism of the 1960s and 1970s. Interest is focused on how belonging to urban or rural culture affects remembrance and interpretation of rural daily life in late socialism. The analysis is based on an examination of interviews with individuals who were raised and grew up in rural parts of the Vologda Oblast in the 1960s and 1970s and then relocated to urban areas. Various discursive models used by respondents in stories about rural childhood are identified and correlated with the areas where the people concerned were socialized (urban or rural) by analyzing narrative descriptions of child labour, rural landscapes, nature, and beliefs about modernity. The article’s methodology is based on a theory of modernity according to which a certain vision of the future is established in society and hierarchies of social groups are created based on their differing positions on the scale of progress. Theories from cultural geography and narrative analysis of interview have also been incorporated into the work.

Keywords: rurality, narratives, childhood, late socialism, village.

To cite: Voronina T., ‘Nesovetskoe detstvo v vologodskoy derevne: rasskazy o proshlom i kulturnaya geografiya pozdnego sotsializma’ [Non-Soviet Childhood in a Vologda Village: Narratives of the Past and the Cultural Geography of Late Socialism], *Antropologicheskij forum*, 2025, no. 64, pp. 248–276.

doi: 10.31250/1815-8870-2025-21-64-248-276

URL: <http://anthropologie.kunstkamera.ru/files/pdf/064/voronina.pdf>

Татьяна Воронина

Несоветское детство в вологодской деревне: рассказы о прошлом и культурная география позднего социализма

Статья посвящена образу «сельскости» в рассказах о детстве в вологодских деревнях позднего социализма в 1960–1970-е гг. Меня интересует, как принадлежность к городской или сельской культуре воздействует на воспоминания и осмысление сельской повседневности позднего социализма и современную идентичность жителей Вологодской области. В основе исследования — анализ интервью с людьми, выросшими в сельской местности Вологодской области в 1960–1970-е гг. и впоследствии переехавшими в города и поселки городского типа. Анализируя нарративные описания детского труда, сельских ландшафтов, природы и представлений о модерности, я прихожу к выводу о существовании разных дискурсивных моделей, использованных респондентами в рассказах о сельском детстве, и связываю их появление с местами социализации людей и выбором принадлежности к той или иной культуре. Методологической основой статьи стала теория модерности, благодаря которой в обществе закрепляется определенное видение будущего и создаются иерархии социальных групп, по-разному размещенных на шкале прогресса. Также в своем анализе я использовала концепции из области культурной географии и нарративного анализа интервью.

Ключевые слова: сельскость, нарративы, детство, поздний социализм, деревня.

Сельское детство в пространстве культурной географии

На цветном вкладыше в учебнике «Родная речь» за 4-й класс помещены два изображения художника В.С. Баюскина «Детство прежде» и «Детство теперь» [Родная речь 1949]. «Детство прежде» изображало деревенских детей, занятых работой. На переднем плане девочка-подросток качает люльку с младенцем и присматривает за еще одним младшим ребенком, сидящим у ее ног на грязном полу. На заднем плане мальчик-подросток через силу вносит в избу тяжелое ведро с водой. Мрачные тона, грязная рваная одежда и болезненные лица детей на картине однозначно маркируют «детство прежде» как сельское, несчастное, антисанитарное и наполненное непосильной работой. По контрасту с ним «Детство теперь» написано в ярких и светлых тонах. На залитом солнцем лугу изображены дети младшего школьного возраста в панамках, занятые, по-видимому, изучением природы под надзором молодой улыбающейся и одетой в белый халат женщины-воспитателя. Нарядные, здоровые, увлеченные занятием дети олицетворяли собой детскую безмятежность

Татьяна Юрьевна Воронина
Независимый исследователь,
Гренхен, Швейцария
voronina1977@gmail.com

и счастье «детства теперь». Если взглянуть на это с точки зрения культурной географии, то современное счастливое детство художник ассоциировал с городскими практиками, а дореволюционное — с сельскими.

Обозначенное художником противопоставление прошлого и настоящего, городского и сельского в репрезентации детства чрезвычайно показательно. Изображая сельское детство как несчастное и связанное с эксплуатацией, а городское — как здоровое и счастливое, художник обозначил одну из самых важных особенностей того, каким представлялось детство в СССР: в официальном советском дискурсе советское детство, как правило, связывалось с городской культурой и осмысливалось в ее категориях.

Дискуссия о советском детстве, нередко окрашенная в тона ностальгических воспоминаний, в СССР обычно отсылала к метафоре счастливого детства, предложенного идеологами в самом начале реализации советского проекта [Келли 2008]. Впрочем, такое отношение не было специфически советским. Идеализация детства и ностальгия по нему — черта большинства современных нарративов о прошлом [Matthews et al. 2000; Cunningham 2006]. Другой особенностью было то, что советское детство концептуализировалось благодаря вниманию исследователей к образовательным практикам, играм, детскому чтению, принятым в первую очередь в городской среде [Келли 2008]. Такой подход также повторял логику изучения детства во всем мире.

Новый разворот теме придало предложение взглянуть на детство с точки зрения пространственной перспективы и сравнительных исследований, пришедшее со стороны культурной географии [Matthews, Limb 1999]. Культурные географы, поставившие во главу угла ландшафты и пространства, показали, что места проживания и социализации людей воздействуют на их осмысление реальности и оценки [McCormack 2002]. В обзоре, подготовленном группой австралийских исследователей детства, отмечалось, что разработанные в индустриальных странах подходы к изучению детства отличаются от того, как его исследовали в странах с аграрными экономиками [Powell et al. 2013]. Дефиниция городской и сельской местности (так часто упускаемая в исследованиях по социальной истории СССР) оказывается концептуально значима не только для описания опыта людей, но и для понимания их нарративов о прошлом и настоящем [Бредникова 2013; Мариничева и др. 2017; Мельникова 2020].

В статье пойдет речь о том, как мигрировавшие в города в 1960–1970-е гг. жители Вологодской области описывали свое детство,

проведенное в сельской местности. Меня интересует, к каким дискурсивным стратегиям они прибегали, рассказывая о своем сельском опыте, и какие модели концептуализации детства они для этого выбирали. Я также задаюсь вопросом о том, как это характеризует их современную идентичность. Рассматривают ли они годы, проведенные в деревне, с присущей современным дискурсам ностальгией? Описывают ли детство, прибегая к существующим в советской литературе урбанистическим канонам репрезентации, или используют альтернативные способы?

В своих размышлениях я исхожу из ряда теоретических положений. Во-первых, вслед за культурными географами я предполагаю, что место социализации человека влияет на рассказ о прошлом. Реализованные в разных странах устно-исторические проекты, учитывавшие географию проживания людей, показывают, что пространство влияет на воспоминания и конструирование прошлого не меньше, чем уровень образования или политические взгляды людей [Thomson 1978; Walker 2006; Warner, Adonyeva 2021]. Более того, от того, как люди рассказывают о своем прошлом, зависит, с какой из культур (городской или сельской) они себя ассоциируют и какая из них определяет их идентичность. Во-вторых, я обращаюсь к концепции Мишеля Фуко о доминирующем и маргинальном знании для объяснения иерархии, сложившейся в отношении городской и сельской местности [Foucault 1980]. Фуко предположил, что акторы, формирующие дискурс, создают и сохраняют власть за счет контроля над распространением знаний. Знание, на его взгляд, всегда связано с властью. В этом свете знания, артикулированные в деревне и сохраняемые сельскими сообществами, в позднесоветское время приобрели статус маргинальных и необязательных, в то время как распространяемое через систему школьного образования, советские газеты и медиа советское знание, наоборот, в послевоенный период можно считать доминирующим.

Концепт модерности, к которому я прибегаю для обозначения системы советских представлений о времени и прогрессе, — еще одна важная категория моего анализа. В гуманитарных дисциплинах о модерности заговорили в контексте осмысления изменений в истории европейских стран, произошедших в эпоху Просвещения и начала Нового времени [Гумбрехт 2016]. Именно тогда время приобрело выраженные линейные характеристики, став прошлым, настоящим и будущим, а прогресс, как перспектива будущего, стал не переменным фактором, влияющим на настоящее [Koselleck 1995]. В большой, длящейся не одно десятилетие дискуссии о том, кто именно формирует представления о прогрессе, звучали разные мнения. Часть исследователей связывала прогресс с европоцентричными мо-

делями развития мира, полагая, что мировой прогресс един, а возникшие и развившиеся в Европе институты рынка и демократии являются глобальными и универсальными по своей природе. Почти сразу это мнение было оспорено авторитетной теорией множественных модерностей. Исходя из нее, в мире существовали и существуют разные культуры и цивилизации, у которых были и есть разные представления о прогрессе и будущем [Eisenstadt 2001; Therborn 2003; Wagner 2008]. Со временем дискуссия о модерности из области политической философии перетекла в социальные дисциплины. В отличие от политических философов, бившихся над ее определением, среди историков и социологов она чаще всего понималась как синоним развития и прогресса, а также как способность социальных групп и людей вырабатывать собственные версии будущего, т.е. прерогатива, признаваемая отныне не только за древними цивилизациями, национальными государствами и элитами, но и за отдельными группами и классами внутри обществ [Giddens 1990; Скотт 2005; Дэвид-Фокс 2016]. Дискуссия о модерности вполне могла бы стать еще одним схоластическим интеллектуальным поветрием среди исследователей, если бы не указала на до сих пор невидимые закономерности между прогрессом как временной перспективой и общественными иерархиями. Оказалось, что настоящее — здесь и сейчас — место группы в общественной иерархии, равно как и социальная политика в ее отношении, напрямую связано с представлениями элит о будущем этой группы и ее позиции на временной шкале развития и прогресса. Более того, закрепленное в культуре и политике социальное неравенство является отражением этих представлений о прогрессе [Пикетти 2023].

Применив концепцию модерности к изучению крестьянства как наиболее многочисленной категории большинства мировых сообществ и стран, Джеймс Скотт, а также ряд других социальных исследователей, включая Теодора Шанина и его коллег по крестьяноведению, предположили, что, несмотря на различия и разные национальные программы модернизаций, у сельских производителей всегда оставалась способность сохранять автономию внутри государства и свое видение будущего, которые во многом расходились с «высокой модерностью» элит [Shanin 1990; Скотт 2005]. Другими словами, престижность городской советской модерности и маргинальность сельской в позднесоветские годы не только были обусловлены экономическим неравенством города и деревни, как это описывалось в марксистской историографии, но и являлись результатом конструирования города и деревни в советском государственном и общественном дискурсах, что, в свою очередь, повлияло на то, как выросшие в СССР люди описывали свое сельское детство.

Наконец, вслед за исследователями, работающими в рамках качественной методологии в социальных науках, и людьми, практикующими различные техники анализа интервью, я полагаю, что рассказ о прошлом представляет собой сложный конструкт из актуальных для человека событий прошлого и современных интерпретаций, природа которых далеко не всегда зависит от пережитого и формируется событиями настоящего [Портелли 2003; Розенталь 2003].

В основу моих размышлений легла коллекция из 11 биографических полуструктурированных интервью с людьми, родившимися и посещавшими школы в сельской местности Вологодской области (в деревнях Вологодского, Кирилловского, Чагодощенского и Тотемского районов) в послевоенный период. Пять из 11 людей на момент разговора живут в городе, мигрировав или сразу после окончания сельских школ, или спустя несколько лет после этого. Четверо информантов переехали из деревень Кирилловского района в поселки городского типа, расположенные в агломерации Вологды. Среди людей, согласившихся со мною побеседовать, 7 мужчин и 4 женщины. Самому молодому из них, родившемуся в 1967 г., на момент интервью был 51 год, самому старшему, 1937 года рождения, — 82 года. У трех человек высшее образование, у девяти — среднее или средне-специальное. Все интервью взяты мною летом 2018 и 2019 гг. в деревнях Кирилловского и Вологодского районов и в городе Вологда.

Городское и сельское в конструировании советского субъекта

Долгое время в советском официальном дискурсе городское отличалось от сельского не столько ландшафтами и пейзажами, сколько классовым происхождением проживавшего там населения, а также его способностью приобщаться к прогрессу, понимаемому в СССР как строительство коммунизма. Начиная с первых лет революции пролетариат, живший в городах, признавался советским руководством более прогрессивным, чем жившее в сельской местности крестьянство [Петрашин 2018]. И хотя принятая в 1936 г. советская конституция вводила вместо классов понятие единого «советского народа», созданные в первые послереволюционные годы иерархии прочно укоренились в советской культуре и политике¹ [Fitzpatrick 1993]. Поэтому город, ассоциирующийся с модернизационными изменениями, всегда был оплотом социализма, в то время как

¹ Шейла Фицпатрик отрицала классовое устройство раннесоветского общества, полагая, что оно скорее делилось на сословия, чем на классы. Тем не менее, разрабатывая реформы, руководство исходило из марксистско-ленинских дефиниций, где класс играл главную роль [Fitzpatrick 1993].

деревня, с ее «мелко-буржуазными крестьянскими элементами» и сохранившейся собственностью в виде индивидуального земельного надела, связывалась с отсталостью, преодолеваемой по ходу приближения к коммунизму [Алымов 2012]. Другими словами, несмотря на декларируемое в дискурсе равенство, лукавая формула союза рабочих и крестьян не сбивала с толку советских людей, помнивших и в 1930-е, и в 1970-е, что жизнь в городе была легче, а быть горожанином престижнее. Неравенство городского и сельского населения было закреплено в правовом статусе граждан (например, в Конституциях 1918 и 1924 г., когда голос городских рабочих или служащих приравнивался к пяти голосам крестьян) [Ennker 2014], в социальном законодательстве, характере паспортизации, особенностях социального устройства, квотах на образование, распределении ресурсов в СССР, в языке и представлениях о культуре поведения. Например, прием в комсомольские и партийные организации в 1930-е гг. происходил строго с соблюдением классовых квот, чтобы не оказалось, что «островки городской сознательности» поглотило «крестьянское море» [Tirado 2001].

Представление об отсталости деревни по отношению к городу, сформированное в дискурсе власти в самом начале реализации советского проекта, и осмысление сельского жителя как «другого» по отношению в социалистической культуре урбанизированных советских субъектов [Алымов 2010; Богданова 2013] особенно остро проявились в середине прошлого века и связаны с именем Никиты Хрущева. Озвученная им на XXII съезде КПСС в 1961 г. программа строительства коммунизма задавала новые стандарты в осмыслении формулы союза рабочих и крестьян в СССР. По сути, она предполагала ликвидацию отличий между трудовыми классами и стирание границ между городом и деревней [О программе 1962]. Из «колхозного крестьянства» — термина, закрепленного в довоенном советском лексиконе, селяне превращались в «рабочих совхозов и колхозов», характерных для позднесоветского времени. В свете принятой программы интерес государства к колхозникам и к сельской местности в целом сосредоточивался на выявлении специфически сельских / крестьянских особенностей у жителей СССР. Именно это повлияло на всплеск советских исследований деревни, где ученые объясняли отличия жизни и быта крестьян-колхозников от жизни и быта горожан-рабочих периферийностью сельской жизни, наличием религиозных пережитков у сельского населения и недостатками в их образовании [Алымов 2010].

Программой для изживания классовых различий в 1960-е гг. была избрана урбанизация сельской местности посредством строительства агрогородов, индустриализации сельского про-

изводства и постепенного распространения социальных благ горожан на сельское население [Melvin 2003]. Достичь этого предполагалось ценой постепенного уничтожения в деревне хозяйственной и культурной автономии жителей (за счет преобразования колхозов в совхозы и борьбы с личными приусадебными хозяйствами колхозников) [Безнин 1991], а также навязыванием деревне урбанистических представлений о прогрессе. По сути, бывшим крестьянам, составлявшим до начала Второй мировой войны основную массу населения СССР, в 1960-е гг. было отказано в праве на автономию и такое будущее, которое учитывало бы их сельскую специфику.

Важным последствием программы строительства коммунизма в 1961 г. стало и то, что признаваемое революционными властями социальное и классовое неравенство населения СССР стало осмысливаться в пространственных категориях, т.е. через место проживания, а не с точки зрения социального происхождения, как было ранее. И хотя этот переход в интерпретации неравенства произошел не сразу и упоминание о классовой принадлежности еще долго оставалось рудиментом советской государственной и бюрократической системы [Байбурин 2017], вчерашние колхозные крестьяне, представители советской интеллигенции и рабочие различались в 1960–1980-е гг. не столько происхождением, сколько местом прописки и заработанным в СССР социальным капиталом семей [Paretskaya 2012].

Реформы Хрущева вызвали необратимые изменения в культуре многих сельских сообществ, в том числе на российском Северо-Западе. С точки зрения государства с утратой хозяйственной автономии и в связи с необходимостью деревни слиться с городом у селян отпадала необходимость актуализировать собственную, особенную, основанную на принадлежности к конкретному месту идентичность. Локальная идентичность, связываемая в деревнях российского Северо-Запада с крестьянской культурой, православием и аграрным производством [Олсон, Адоньева 2016], утрачивала ценность и уступала место советской идентичности, ориентированной на прогресс и урбанизацию [Voroniina 2023]. И если в союзных республиках в 1960–1970-е гг. государственные органы власти прилагали усилия для развития национальных культурных и языковых проектов на селе [Davoliütè, Rudling 2023], то в РСФСР связываемый исключительно с советской культурой прогресс планомерно уничтожал российскую деревню [Денисова 1996]. Другими словами, нежелание идеологов 1960–1970-х гг. признавать за крестьянской культурой ценность, достойную некоторой автономии внутри советской культуры, привело к маргинализации деревни и в целом сельского образа жизни.

Итак, активно развивающаяся в городах и поселках городского типа 1960–1980-х гг. советская модерність (занявшая благодаря общеобразовательным школам и советским медиа доминирующее значение в дискурсе) вступала в противоречие с бытовавшими в сельской местности Вологодской области альтернативными ей вернакулярными, локальными представлениями, что в категориях Фуко можно назвать «маргинальным знанием». Эти представления проявлялись не только в отличных от городов темпоральных режимах людей, но и в способах коммеморации прошлого и создании «не советских» и «не современных» нарративов о сельской реальности, в том числе в контексте описания людьми своего детства.

Далее я покажу, как эти вернакулярные представления находили отражение в воспоминаниях бывших сельских мигрантов и как они сталкивались и вступали в противоречие с современными интерпретациями людей, рассказывавших о своем детстве.

Детский труд

Исследователи сельского детства обращали внимание на то, что детский труд по-разному интерпретируется в современных и традиционных культурах [Powell et al. 2013]. В тех странах и культурах, где доминирует сельская экономика, детский труд осмысливался как явление типичное и к нему не было негативного отношения. Антропологи подчеркивали, что труд в этих культурах включал элементы игры, он позволял детям осознавать свою пользу для семьи, что воздействовало на их статус в сообществах. Наоборот, в дискурсах современных обществ с середины XX в. детский труд не просто осуждается, но и преследуется по закону. Международные конвенции ООН о правах детей однозначно негативно трактуют этот феномен.

В советской культуре отношение к детскому труду долгое время было амбивалентным. С одной стороны, советская идеология его осуждала, видя в нем продолжение классовой эксплуатации. Запрет на тяжелый физический труд советских детей объявлялся заслугой социализма и был закреплен во всех документах о труде. Надежда Крупская объясняла на страницах «Пионерской правды»: «Трудовой кодекс устанавливает твердое правило, что не допускается работа по найму детей моложе 14 лет и лишь в особо легких отраслях сельскохозяйственного труда допускается труд детей с 12 лет. <...> Рабочий день детей моложе 16 лет не может превышать 4 часов» [Крупская 1930]. С другой стороны, культ свободного созидательного труда во имя социализма был основой воспитания в СССР и призывал советских детей принимать активное участие во всех начинаниях взрослых. Трудовые коммуны Макаренко и программа

трудоустройственной школы, предложенная Хрущевым, казалось, свидетельствовали о том, что государство вовсе не спешило отказываться от детского труда. Историк образования Мария Майофис именно так интерпретирует школьную реформу 1958 г. По ее мнению, государство «закрепощало детей» в школах с производственным уклоном, стремясь таким образом решить проблему «трудовых резервов», возникшую после сокращения трудовых лагерей в стране после 1953 г. [Майофис 2016]. Однако если взглянуть на предложенные Хрущевым преобразования с позиции сельского жителя 1950-х гг., то картина может оказаться другой. Для деревенских детей инициированный Хрущевым «всеобуч», ставший важной частью школьной реформы в сельской местности, и необходимость посещать школы были реальной альтернативой тяжелому крестьянскому труду, который в вологодских деревнях начинался задолго до совершеннолетия. В семьях вологодских колхозников еще в 1950-е гг. девочек с 7–9 лет отдавали в «няньки», а мальчиков привлекали к работам в колхозе [Клоц 2012].

Противоречивость в отношении к использованию детского труда в семьях колхозников стала предметом острой рефлексии у бывших сельских школьников. С одной стороны, казалось, они не видели ничего крамольного в том, что были вынуждены помогать родителям по дому. С другой стороны, они осознавали детский труд как чрезмерный и даже травматичный. Александр вспоминал об этом следующим образом: «У нас вот был дома распорядок, у всех детей были свои обязанности, все знали, чтобы отец сказал два раза одно и то же — это просто нереально. Сказал — должно быть исполнено. И не должно быть никаких этих вопросов. Все. Все знали. После школы приходили — один одно делал, другой — другое, третий — третье. Это ж скотины полный двор, всего полно — кролики, овцы, коровы, телята, надо всем воды, все вручную».

Для Александра такой домашний распорядок казался естественным, как и непререкаемый авторитет отца. Более того, он полагал, что физическая нагрузка вследствие выполнения работы оказывается в конце концов полезной для здоровья. Именно этим он объяснял свои спортивные успехи во взрослой жизни. Он говорил: «Косить с семи лет — ручной косой вот этой. Это тяжело, но тренировка для пресса — все. Поэтому я сохранил форму: с детства один вес — 70 килограмм. Абсолютно».

Другой респондент подчеркивал, что у хорошего работника в деревне был авторитет, доступный в том числе работающему ребенку. Он вспоминал, что его умение косить не осталось незамеченным соседями и было предметом его гордости: «Ну вот мы эту низину-то и косили. А Алексей-то с Мысу шел в Ивицы.

Вот он увидел говорит: “О! — с отцом были. — А кто у тебя там еще?” — “Так это вот...” — “У-у-у, помощник-то какой у тебя! Косит как мужик!”»

Позитивное отношение к детским трудовым обязанностям, характерное для социальной памяти деревенских жителей, в то же самое время вступало в противоречие с осуждающим его взглядом современного человека. В интервью труд мог описываться как чрезмерный, непосильный и даже травматический. Для некоторых из информантов именно детский труд был главной характеристикой сельского детства.

Так, Юрий вспоминал: «Зимой вот мне надо было по дому — принести дров, принести воды, залить керосин в лампу, почистить стекло лампы... ну и еще и матери сходить на телятник — еще и там помочь поскоблить. <...> надо было ведер шесть, а то и больше принести. Только не донести — семилитровые, но все равно руки-то вытягивались. Иногда с мамой. Как-то я у нее спрашиваю: “Ты вот несешь эти, так тяжело?” Я через силу нес и наливал побольше, чтоб меньше бегать-то. Она говорит: “Конечно, тяжело”. Но я понял, что, наверно, не так тяжело, как мне. Так что так».

Воспоминание о тяжести ведер и перечисление детских обязанностей подчеркивали осознание избыточности детских нагрузок, даже если они казались «естественными» для крестьянской среды. Примирить представления об их нормальности, характерные для социальной памяти, и свои впечатления о чрезмерности помогали различные стратегии. Например, представление о том, что трудности и сверхнагрузки были вызваны экстраординарными для семьи обстоятельствами и вовсе не были общепринятыми.

Например, одна из женщин отказалась от интервью, мотивировав это тем, что не хотела бы возвращаться к тяжелым детским воспоминаниям. Она пояснила, что у деревенских детей «не было детства, одна работа». Оправдываясь за отказ от интервью, она поясняла, что в ее семье рано умер отец и тяжело болела мать, поэтому помимо обычных обязанностей по дому дети долгое время выполняли еще и взрослые работы, например отработывали за мать колхозные трудовые дни. В данном случае болезнь матери и смерть отца стали усугубившими положение деревенских детей обстоятельствами, которые воспринимались ею как травматические. Другой информант объяснял тяжесть детского труда тем, что был единственным ребенком в семье, где отец, инвалид войны, не работал в колхозе. Как говорил Юрий, «если бы семья была побольше, то уже нагрузка равномернее». Современные дискурсивные построения в размышлении о детском труде появлялись в интервью Александра при

сравнении себя «деревенского» со своим городским внуком. Александр рассказывал: «Мне грабли эти, помню, вручили, когда мне было пять лет. Хорошо помню: мама учила грести, подгребать вот это вот сено правильно, сразу я неправильно брал. Все, ребенок, пять лет. Вон, Тема бегаёт — ему шесть уже. Какие тут грабли?»

Риторическим вопросом Александр подчеркивал неуместность ситуации, при которой малолетний ребенок может рассматриваться в качестве серьезного помощника по хозяйству. Он сравнивает себя и внука, показывая абсурдность сопоставления и подводя к выводу о том, что дети такого возраста не должны работать и не могут справиться с задачами, которые, находясь в возрасте внука, решал сам Александр. В результате высказанное им суждение о том, что детский труд закаляет и делает людей спортсменами (о чем он говорил раньше), не распространяется на внука-горожанина. То есть одновременно он рассуждает в двух логиках. В логике бывшего крестьянина он оправдывает труд, гордится им, считает полезным. В логике «городского дедушки» он его осуждает и не считает полезным.

Таким образом, в размышлениях о детском труде отчетливо различим конфликт между двумя интерпретациями. Одна из них предполагает «нормализацию» детского труда. Следующие этой логике люди подтверждают сохранение социальной природы деревенских воспоминаний или социальную память класса [Ассман 2014]. Другая логика, наоборот, вызывает осуждение труда детей, что является частью современных «городских» представлений о детском труде. Рассуждая о себе, люди использовали то одну интерпретацию, то другую, переключая режимы в зависимости от того, с какой культурой они себя ассоциировали в момент рассуждений: городской, являясь современным дедушкой для внука, или деревенской, размышляя о себе в детстве.

Сельская пастораль и вологодские просторы

Эстетизация природы и сельских ландшафтов, а также признание того, что жизнь в сельской местности полезна для здоровья, контрастно отличает современный дискурс от впечатлений о жизни в деревне, распространенных среди самих сельских жителей [Matthews et al. 2000], тем более если речь идет о сельском детстве [Jones 1997]. Сформировавшийся в начале XIX в. в европейской литературе романтический канон задал тон в дискурсе о модерности. Поэты и писатели идеализировали детство на лоне природы, где дети познавали мир через общение с животными, могли самостоятельно наблюдать за изменениями погоды и были отгорожены от «нездорового» влияния город-

ской культуры [Зорин 2016]. В то же время именно городская культура, индустрия и промышленность связывались в культуре модерна с развитием и прогрессом [Терборн 2021]. Цивилизация городского модерна осваивала природу, укрощала ее, использовала в своих целях. Марксистский взгляд на прогресс как использование нового и «необжитого», казалось, был символом такого подхода [Bolotova 2004].

В советской культуре не было готового ответа, как должны были выстраиваться отношения между природой и человеком [Weiner 1999]. С одной стороны, возобладавший в культуре СССР с 1930-х гг. соцреализм противопоставлял природу человеку, видя в ней «стихийное начало», требующее укрощения [Clark 1981]. Природа описывалась как сила, способная вывести из строя технику, стать причиной неустроенности рабочего общежития, неурожая, наконец, просто способная погубить человека. В рамках такого подхода природу следовало покорять. С другой стороны, произведения российских и советских писателей, описывавших красоту первозданной природы, были частью эстетического воспитания советских школьников. Они входили в школьную программу преподавания литературы и, казалось, бросали вызов дискурсу покорения [Родная литература 1969]¹. Любовь к природе символизировала любовь к Отечеству. «То березка, то рябина, куст ракиты над рекой. Край родной, навек любимый, где найдешь еще такой!» — песня-лозунг любви к родине, написанная в 1955 г., говорила не столько о покорении, сколько о любви и восхищении.

Описания сельской местности через романтизацию природы были характерной чертой и соцреалистических романов, авторы которых не скупались на пространные образы рек, озер, степей и полей. Образы природы передавали душевное состояние героев, помогали сделать произведения реалистичнее. Наиболее последовательными проводниками любви к родной природе и сельскому труду в литературе стали «писатели-деревенщики» [Parthé 1992; Разуvalova 2015]. Домодерная деревня в их произведениях была царством гармонии человека и природы, в то время как деревня современная (т.е. 1970-х гг.) вызывала у них неприязнь и горечь. В любом случае в дискурсе «высокой культуры», которую представляли писатели и политические деятели, природу следовало любить. Так, в тексте выступления секретаря Ставропольского крайкома комсомола Василия Курилова, опубликованном на страницах журнала «Сельская молодежь» в 1972 г., эта мысль звучала совершенно

¹ См., например, главу «Море» из «Белеет парус одинокий» В. Катаева, посвященную описанию крымской природы, или повесть М. Пришвина «Кладовая солнца».

отчетливо. Он писал: «Говоря о деревне, мы часто забываем о естественном природном достоянии, которым располагает село. Река, лес, степь, озеро, точнее первозданность природы, ее благодатное окружение — колоссальный эмоциональный фактор. Сохранить это, почувствовать ответственность за красоту края — эти качества не приходят сами собой. Их должно вырабатывать у молодежи. В условиях деревни делать это гораздо легче» [Речь секретаря 1972]. Иными словами, любовь к природе не мыслилась чем-то естественным для сельского жителя, ее следовало культивировать и поощрять.

В социальной памяти российской деревни природе отводилась совершенно другая роль, чем та, которую приписывала ей современная культура. В деревнях природа воспринималась скорее как равная миру человека, способная как накормить, так и оставить голодным, как излечить от болезни, так и принести урон [Олсон, Андоньева 2016]. Она требовала к себе уважения и соблюдения многочисленных правил, но вряд ли вызывала нежные чувства.

В собранных интервью люди, рассказывая о деревенском детстве, о красоте природы в местах взросления не говорили совсем. Ценность местоположения определялась другими характеристиками. Так, одна из информанток рассказывала о переезде семьи следующим образом: «Деревня Ниловицы. Я не помню ее — что мы уехали, три года было. Вообще не помню, не представляю даже. Но мама говорит, что поселок был хороший, большой, там много было всяких ягод, там, грибов, потому что там... она говорит: мне не хотелось оттуда уезжать, но пришлось, потому что затопило».

Для Татьяны, сославшейся на мнение своей матери, очевидно, что достоинство местоположения связано с размером деревни и доступом к ресурсам — грибам и ягодам, а не, например, с видом на реку или озеро, столь важным сейчас для горожанина, выбирающего себе участок под дачу.

Таким же образом конструировались и представления о сельском пространстве. То, что для горожанина было «необъятными просторами», для сельского жителя — днями пути. Как вспоминал Юрий: «Там какой-нибудь вечер выходишь — в этом, в клубе-то — светло, тепло, музыка играет. А выйдешь, как поглядишь на Ивицы, на Кабачино — мама дорогая! Да еще и ветер, и тропку перемело, и одному идти надо. Думаешь: ну все, больше чтоб я сюда пошел. Вот проходит там неделька — и опять туда».

В интервью с Татьяной речь шла о проблемах с переправой через реку.

Один раз, правда, мы... что-то ветер такой сильный, и катер не ходил, а нам домой охота. А нам говорят: «Сегодня катер не будет ходить», потому что типа шторма что-то было. В интернете все дети зареченские — нас зареченские звали. «Все зареченские сегодня в интернет». А нам домой охота. Мы к этому Мише Жижке: «Дядя Миша, перевези!» Он: «Робята, в жижку мать, вот не велено ехать — посмотрите, волна-то какая». А мы-то его: «Да дядя Миша, да мы поехали, домой охота» да все. В рев-то все. Выли во. Он: «Ну поехали». Сели, нас не помню, сколько человек нас было. Волна как хлестнет — так пол-лодки воды. А мы кто чем — колобашки какие, у кого чего — сами сидим вот так вот в воде. А все равно домой надо.

Рассказы о сельских просторах и природе в нарративах бывших сельских жителей встречались преимущественно в контексте описания конкретных занятий (походов в школу, в лес за ягодами или вениками, рыбалки и т.д.) или при описании трудностей, связанных с отсутствием транспорта или инфраструктуры. Другими словами, то, что для горожанина было пасторалью и просторами, для деревенского человека оказывалось связано с неудобствами и днями пути. Предложенные современным дискурсом представления о природе и сельском пространстве (будь то описания природы как антагониста или природы как объекта обожания) оказались не востребованы людьми, размышляющими о специфике сельской местности даже спустя много лет после переезда. Никто из них не вспомнил о красоте сельских закатов и рассветов, прекрасных видах, открывавшихся с холмов на реки и озера, или близости к памятникам архитектуры. Они считали, что эстетизация природы и ландшафтов — это не тот способ, который способен раскрыть доподлинные смыслы жизни в деревне.

Осознание (не)современности

Модернизация сельской жизни в деревнях российского Северо-Запада в 1960–1970-е гг. не могла не сказаться на осмыслении своих биографий сельскими жителями. Анализируя мемуары и автобиографии советских людей, написанные и опубликованные в годы перестройки и сразу после нее, литературовед Ирина Паперно делала вывод, что в процессе создания биографических текстов люди копируют уже существующие в литературе стратегии саморепрезентации [Paperno 2009]. Чтение художественной литературы формирует современные способы самовыражения и порождает новые формы осмысления действительности [Топоров 1930].

Проникновение массовой грамотности в сельскую местность Вологодской области связано со школьной реформой 1958 г.

Введенный еще в 1930-е гг. «всеобуч» в 1960-е гг. охватил наконец даже отдаленные от городов сельские территории. В результате в 1960-е гг. практически все дети преимущественно сельской Вологодской области оказались за партами. Однако разный уровень образования в городских и сельских школах и разная степень вовлеченности детей в учебную деятельность не гарантировали обещанного реформой равенства [Филиппов 1976]. Сельские школьники имели отличный от городских опыт школьного обучения, а вместе с этим разный уровень восприятия модернизационных ценностей. И хотя переезд в города радикально «модернизировал» сельскую молодежь, отголоски деревенского прошлого оказывали влияние на их идентичность всю оставшуюся жизнь. Неслучайно социология молодежи начиналась именно с изучения культуры деревенских переселенцев, «новых горожан», в которых виделась чужеродная городскому укладу жизни субкультура [Pilkington 1994].

Выдача паспортов работникам совхозов в конце 1960-х — начале 1970-х гг., а затем и всеобщая паспортизация сельского населения в середине 1970-х окончательно уничтожили сословную предопределенность и сняли ограничения в выборе места жительства с жителей сельских территорий Вологодской области [Байбурин 2017]. Все это стимулировало молодежную миграцию в города. В результате, как и большинство сельского населения Вологодской области, мои респонденты, сделав выбор в пользу переезда, изменили социальную траекторию, предписанную им классом и происхождением, и в этом смысле они, несомненно, были «модерными субъектами».

Однако модерность — это не только «внешний» по отношению к человеку признак, но и внутренний. От того, чувствует ли человек себя современным, нередко зависит диапазон его решений и саморепрезентации. Поэтому важным дополнением понимания современного субъекта является введенное Тейлором понятие «социально воображаемой модерности» [Тейлор 2010]. Другими словами, от того, кем осознавали себя люди — городскими или деревенскими — во многом зависело их социальное поведение и нарратив о прошлом.

Из перспективы деревенского мира география происхождения не играла большой роли, хотя города как административные, торговые и культурные центры традиционно были местом значимым, так как именно там находились рынки, магазины, администрации, суды и заседала власть. По мнению Маргарет Паксон, в вологодских деревнях культурная география определялась через категории «своих» и «чужих», где «своими» считались члены семьи, соседи, родственники, проживавшие в соседних и отдаленных деревнях [Paxson 2005], в то время как

«чужими» были все остальные. Границы между «своими» и «чужими» гибкие, они устанавливались в ходе ежегодных деревенских праздников, гуляний и драк между деревенской молодежью. Закрепленного иерархического порядка, в соответствии с которым одна деревня считалась бы «прогрессивнее» другой, не существовало.

Хрущевские реформы, позднее дополненные программами развития российского нечерноземья, наоборот, внедряли представления об иерархиях территорий в сельскую местность. Деревни со школами, клубами и магазинами стали считаться более прогрессивными по отношению к деревням, где этих институтов никогда не было. В то же время предложенное в ходе реформ разделение вологодских деревень на «перспективные», т.е. подлежащие сохранению, и «неперспективные», обреченные на вымирание в силу остановки инвестиций на их развитие, не связывалось с характеристиками проживавших в них людей.

Совсем по-другому осмысливалось место жизни при столкновении сельской и городской культуры. В городской среде место проживания приобретало важное значение, так как на основании этого судили о статусе и привилегированности. Приезжавшие на летние каникулы в вологодские деревни городские родственники и соседи привозили с собой не только продукты, недоступные в местном сельпо, но и убеждение в том, что жизнь в городах богаче, интереснее и насыщеннее деревенской, а горожане, с которыми они себя идентифицировали, более современные.

Деревенские дети включались в советские иерархии в школах. Одна из учителей сельской Горицкой восьмилетней школы Кирилловского района в интервью вспоминала, что в 1960-е гг. ее школа была центром «школьного куста». Это подразумевало, что выпускники четвертых классов малокомплектных начальных школ из более чем десяти сельских советов должны были продолжать учебу в Горицкой восьмилетке. При этом классы комплектовались в зависимости от места проживания учеников. Так, один из классов в параллели комплектовался из «зареченских» детей, проживавших в деревнях Горицкой округи, но не в самом селе. В то же время другие два класса набирались из «слободских» или горицких (живших в селе, родители которых работали в колхозе) и «интернатовских», т.е. детей рабочих и служащих созданного в Горицах в 1944 г. дома-интерната инвалидов войны. Из всех трех классов «деревенские» ученики считались наименее способными.

Такая же система формирования классов в 1970-е гг. была и в школе № 6 г. Вологды, расположенной в поселке Молочное Вологодского района. В параллели из трех классов поселковой

школы в классы «А» и «Б» записывали детей профессорско-преподавательского состава располагавшегося в Молочном Вологодского молочного института. В класс «В» зачислялись дети из окрестных деревень. Как и в Горицах, деревенских школьников учителя считали наименее мотивированными учениками.

Осознавали дискриминационные практики в школе и рассказывали о них далеко не все респонденты. У этого были разные причины. С одной стороны, в некоторых районах Вологодской области, как, например, в Кирилловском, социальный состав жителей был более гомогенным. Прослойка «культурных работников» и рабочих там была незначительной. Помимо совхозов, в 1960–1970-е гг. в районе были только леспромхозы. Поэтому почти все школьники были выходцами из семей с очень похожим социальным статусом. Так, горицкие «слободские» или «интернатовские» школьники из описанной выше Горицкой школы особенно не отличались от деревенских «зареченских» детей, и те, в свою очередь, особенной дискриминации в отношении себя не ощущали. В то же время в поселке Молочное социальное расслоение жителей было существенным. Разница между семьями преподавателей Вологодского молочного института и семьями колхозников из окрестных деревень была более выпуклой. Это создавало социальное напряжение и становилось объектом осмысления для бывших школьников. Сельские выпускники школы в Молочном рассказывали, что неоднократно становились объектом насмешек со стороны учителей и учеников¹. Высмеивались опоздания и прогулы, запах одежды деревенских учеников, скудность их гардероба, необходимость ношения резиновых сапог в связи с распутицей и т.д. И хотя интересы у поселковых и деревенских детей во многом совпадали, деревенские дети четко ощущали свое несоответствие и непохожесть на городских сверстников.

С другой стороны, осознание неполноценности из-за проживания в сельской местности приходило не только в силу разного опыта. Только тот, кто осознавал иерархию городского и сельского и придавал ей значение, был способен увидеть дискриминацию. Люди, не акцентировавшие эти иерархии в интервью, как бы продолжали существовать в мире сельского равенства среди своих и чужих, где место рождения и жизни, казалось, не играло никакой роли. Таких, правда, было немного. В большинстве случаев люди говорили о дискриминации в отношении сельского населения, связывая ее как с особенностями распределительной системы, так и со спецификой аграрного производства.

¹ Коллективное интервью с четырьмя выпускницами школы п. Молочное (Молочное, 2018).

Например, Юрий связывал «сельскость» с отсталостью и отсутствием в деревне технического прогресса. Он вспоминал об этом следующим образом: «Родился в деревне — так, конечно, я был обречен уже на это. На село. Обречен. Пример — вот рядом. Лошадки, коровы, домашняя живность. Я даже, наверно, только лет в 15 — что-то мне в голову пришло, что зимой можно на машинах ездить. У нас же трактора ходили гусеничные, и на лошадях. Я вот жил в этом и спокойно так это. А потом было для меня открытие: как это, можно же на машине. Это, по-моему, я уже в восьмом классе, ходил в девятый вот. Так вот».

В другой части интервью он рассказывал о казавшихся странными для деревенского ученика уроках пения. Деревенский житель пел на деревенских праздниках и по специальным поводам, поэтому требование учителя петь на уроке казалось ему абсурдным. Не менее красочно Юрий описывал восторги сельских мальчишек, узнавших о наборе в училище по специальности «сантехник». Не имея представления о том, что это за профессия, не знакомые с канализацией и водопроводом ученики Горлицкой школы представляли ее престижной и современной. «Ну ладно, еще это, в восьмом классе. Тоже восьмой класс заканчивается, ну там эти всякие вывески, ну лозунги. И у нас это, ребяташки бегают: “Идем учиться на слесарей-сантехников — во! Зарплаты дикие, бляха, работа в халатике” (смеется). Слесарь-сантехник».

Приводя эти примеры, Юрий как бы сопоставлял разные оптики: он противопоставлял себя деревенского (восхищенного профессией сантехника, удивленного возможностью ездить на машине зимой и не желающего петь на уроке) себе городскому, умудренному опытом жизни в городской среде. Сельский подросток в рассказах Юрия представлялся смешным, простоватым, наивным и несовременным. Юмор, с которым он отзывается о своих открытиях, показывает четкое осознание разрыва между собой — подростком из деревни и собой — городским рефлексирующим взрослым.

Соседка Юрия по деревне Татьяна также описывала ограничения, наложенные на нее деревенским происхождением. Она связывала их с отсутствием возможности выбрать желаемое образование. Она объясняла, что, так как в семье не было средств на покупку новой одежды и обуви, она решила не продолжать учебу в школе и не идти в девятый и десятый класс.

Инф.: *Маме очень хотелось, чтобы я шла учиться на врача. Но это надо было заканчивать десять классов — после десяти идти. А девятый-десятый класс надо идти в Кириллов учиться. А Кириллов тогда еще ну уже было представление, что город. Надо ведь чтобы и одеться как-то соответственно. А мы*

чего — здесь чего ходили. Сапог зимних не было, валенки с калошами — стыдно идти туда в школу, валенки с калошами. Зимнего пальто как такового тоже не было. Фуфайка или, там, какое-нибудь такое старенькое такое, что-нибудь пальтишко. А хотелось — уже и время было пятнадцатый, шестнадцатый год — хотелось уже какую-то такую одежду купить, все. И так я и не пошла туда. Я поехала в Вологду в училище. Думаю — учиться там всего год, и буду я одеваться. А там...

Соб.: А какое училище?

Инф.: Лынокобминат. Двенадцатое училище. И там и полгода мы отучились — и пошли на практику. И сразу как на месяц практики и уже стала деньги получать и стала одеваться. Первое, что я купила себе — пальто. А то я в Вологду поехала, зимнего пальто нет, одевала мамино пальто — мамино еще с девок. Оно как сейчас модно — такое приталенное, тут мех, воротник, шалькой мех. Но старое. Мамино. Вот в этом пальто. Все девки в клуб — мне стыдно идти, я никуда не ходила. Я только ходила — там мамин брат жил рядом с семьей — вот только до них.

Таким образом, Татьяна осознавала неравенство между городом и деревней благодаря связи «сельскости» с бедностью и скудными возможностями распределительной системы.

Муж Татьяны Сергей, родившийся в деревне Вологодского района, свое сельское детство связывал не столько с ограничениями и дискриминацией, сколько со спецификой обучения в сельской школе. Амбивалентность отношения проявилась в его рассказах о насилии. Вспоминая о царивших в школьной жизни порядках, Сергей отмечал, что директор средней школы, в которую он ходил, применяла физические наказания. При этом характерно, что для Сергея эта ситуация не казалась странной. Он рассказывал об этом следующим образом.

Инф.: У нас этот была строгая этот директор, так она вызывала на ковер на красный. К себе так. Она такая, была что... Сейчас это, детей не трогай ничего. Она там и оплеуху даст лишний раз, и подзатыльник так влепит. У себя в кабинет это. <...> Например, в седьмом классе надо было на лен ходить да турнепс таскать, да коров... а мы... да домой, а там проверяли — эта, классная: «Такого-то нету». И по списку все... вызывает завуч и директор к себе в кабинет, и получай леца (смеется). Да, просто лупила, такая была директор. <...> Все боялись даже ее. Вся школа. Она строгая была. Хорошо и держала. Там никто не курил, не пил, ничего. Чтобы это — уй! Только кто зайдет это в туалет, там, учует, хоть парень — и... сразу к директору и она... (смеется).

Соб.: На перевоспитание.

Инф.: Да. Не как сейчас, что сразу маме, папе нажалуется. Или в полицию пойдут так. Раньше нет.

Судя по интервью и интонациями, с которыми он рассказывал об этом, Сергей не считал методы директора чрезмерными или непедagogичными. Он не осуждал их. Более того, в разговоре он называл фамилию и имя директора, не заботясь о том, что это может причинить вред ее репутации. Наоборот, кажется, что он отдавал должное ее организаторским способностям. В определенном смысле созданная в ходе разговора фигура директора напоминала метафору родителя в принятой в деревне властной иерархии. Дважды прибегнув к сравнению прошлого с настоящим, Сергей заострил внимание на насилии в отношении детей (тогда можно, сейчас нет) и на невозможности детей пожаловаться родителям или в полицию (тогда нельзя, теперь можно). При этом Сергей не спешит показать открыто свое отношение в этой проблеме, как бы осмысливая ситуацию по ходу рассказа. С одной стороны, в логике сельского жителя стремление к порядку и поддержанию дисциплины директора выглядело оправданным. Однако это однозначно противоречило современным представлениям о воспитании детей и, значит, не может трактоваться исключительно позитивно. Сергей видит эти дискурсивные несоответствия и предпочитает не делать выводов на основе рассказанного эпизода, ограничиваясь только обозначением возникших «зазоров» в интерпретации ситуации и предлагая слушателю самому оценить ситуацию.

Заключение

В статье я попыталась взглянуть на то, как бывшие мигранты из сельской местности интерпретируют свое прошлое, прибегая в рассказах к устоявшимся в российском обществе представлениям, основанным как на современных дискурсах, так и на дискурсах, сформированных внутри социальной и классовой общности колхозного крестьянства, характерных для населения сельской местности Вологодчины. Рассказывавшие о своем детстве, учебе в школе и деревенской повседневности люди вкладывали в свои детские занятия смыслы, артикулированные и усвоенные в среде их социализации (деревне) или в месте современного проживания (городе или поселке городского типа). При этом речь шла не только об определенном наборе воспоминаний — походах в школу на большие расстояния, пришкольных интернатах или отсутствии времени на подготовку домашних заданий, но и о способе их интерпретации.

Артикулированные в городских современных дискурсах суждения о детском труде, природе и современности расходились с тем, как эти темы понимались деревенскими жителями. Для людей,

судивших о сельской местности из перспективы собственного опыта, «сельскость» концептуализировалась в совершенно других категориях. Люди, выросшие в деревне, связывали ее с трудовыми обязанностями, они строили свои взаимоотношения с местностью через необходимость гармоничного сосуществования с природой. Осознание дискриминационных практик в школе и ощущение себя «несовременным» на фоне городских сверстников стали атрибутом проникающей в сознание людей советской модерности, где ценность города понималась как аксиома позднесоветской жизни.

Переезжая в города или поселки городского типа, люди приобретали новую идентичность и становились горожанами, перенимая ценности городской модерности с ее практиками культурного потребления, образования и профессионального становления. Однако при этом они сохраняли чувство принадлежности к сельскому миру, что, вероятно, позволяло смягчить последствия произошедших изменений. Они осознавали «инаковость» сельского мира и конструировали его из логики, альтернативной городской.

В то же время деревенское происхождение скорее создавало предпосылки, но не гарантировало того, что при описании своего детства они судили о нем исключительно с позиции сельского жителя, разделявшего ценности «крестьянского мира». Имея похожий опыт, люди весьма по-разному оценивали свое прошлое, то разделяя модернистские суждения, то воспроизводя альтернативные идеи. Рассказывая о своем детстве, они обращались к разным дискурсам и системам знаний, весьма замысловато характеризовавших их современную идентичность — то как уехавших в города деревенских мигрантов, то как возвращающихся на родину городских «дачников».

Источники

- Крупская Н.К.* Как организовать труд ребят в колхозе? // Пионерская правда. 1930. № 51.
- О программе Коммунистической партии Советского Союза. Доклад товарища Н.С. Хрущева 18 октября 1961 г. // XXII Съезд Коммунистической партии Советского Союза. 17–31 октября 1961. Стенографический отчет. М.: Изд-во полит. лит-ры, 1962. Т. 3. Ч. 1. С. 148–258.
- Речь секретаря Ставропольского крайкома комсомола Василия Курилова // Сельская молодежь. 1972. № 1.
- Родная литература: хрестоматия для 5 класса / Сост. Н. Колокольцев. М.: Просвещение, 1969. 406 с.
- Родная речь: книга для чтения в 4 классе / Ред. Е.Е. Соловьева и др. 5-е изд., исправл. М.: Просвещение, 1949. 277 с.

Библиография

- Алымов С.* Неслучайное село: советские этнографы и колхозники на пути «от старого к новому» и обратно // Новое литературное обозрение. 2010. № 101 (1). С. 109–129.
- Алымов С.* Понятие «пережиток» и советские социальные науки в 1950–1960-е гг. // Антропологический форум. 2012. № 16. С. 261–287.
- Ассман А.* Длинная тень прошлого: мемориальная культура и историческая политика. М.: НЛЮ, 2014. 323 с.
- Байбурин А.К.* Советский паспорт: история — структура — практики. СПб.: Изд-во Европ. ун-та в Санкт-Петербурге, 2017. 487 с.
- Безнин М.А.* Крестьянский двор в российском Нечерноземье в 1950–1965-е годы. Вологда: Вологодский пед. ин-т, 1991. 256 с.
- Богданова Е.* Антропология деревенской двухэтажки: от исследования жилища к исследованию сообщества // Богданова Е., Бредникова О. (ред.). Вдали от городов: жизнь постсоветской деревни. СПб.: Алетейя, 2013. С. 105–126.
- Бредникова О.* Деревня умерла? Да здравствует деревня! // Богданова Е., Бредникова О. (ред.). Вдали от городов: жизнь постсоветской деревни. СПб.: Алетейя, 2013. С. 28–59.
- Гумбрехт Х.У.* Современный, современность (Modern, Mdernität, Moderne) (1978) // Словарь основных исторических понятий: Избр. ст. М.: НЛЮ, 2016. Т. 1. С. 241–296.
- Денисова Л.* Исчезающая деревня России: нечерноземье в 1960–1980-е годы. М.: Ин-т российской истории РАН, 1996. 216 с.
- Дэвид-Фокс М.* Модерность в России и СССР: отсутствующая, общая, альтернативная или переплетенная? // Новое литературное обозрение. 2016. № 4 (140). С. 19–45.
- Зорин А.* Появление героя: из истории русской эмоциональной культуры конца XVIII — начала XIX века. М.: НЛЮ, 2016. 568 с.
- Келли К.* Об изучении истории детства в России XIX–XX вв. // Макаревич Г.В. (сост.). Какорея: из истории детства в России и других странах: Сб. ст. и мат-лов. М.; Тверь: Научная книга, 2008. С. 8–46.
- Клоц А.Р.* «Светлый путь»: институт домашних работниц как миграционный канал и механизм социальной мобильности эпохи сталинизма // Новое литературное обозрение. 2012. № 117. С. 40–52.
- Майофис М.* Пансионеры трудовых резервов: формирование системы школ-интернатов в 1956–64 годах // Новое литературное обозрение. 2016. № 142. С. 292–324.
- Мариничева Ю.Ю., Веселова И.С., Адоньева С.Б., Матвиевская Л.Ф.* Первичные знаки / назначенная реальность. СПб.: Пропповский центр, 2017. 336 с.
- Мельникова Е.А.* Биографии переезда из города в деревню и риторика самотрансформации в современной России // Этнографическое обозрение. 2020. № 6. С. 88–105.
- Олсон Л.А., Адоньева С.* Традиция, трансгрессия, компромисс: миры русской деревенской женщины. М.: НЛЮ, 2016. 434 с.

- Петряшин С.* Соцреализм и этнография: изучение и репрезентация советской современности в этнографическом музее 1930-х гг. // Антропологический форум. 2018. № 39. С. 143–175. doi: 10.31250/1815-8870-2018-14-39-143-175.
- Пикетти Т.* Общества неравенства. М.: Родина, 2023. 352 с.
- Портелли А.* Смерть Луиджи Трастулли. Память и событие // Лоскутова М.В. (сост., общ. ред.). Хрестоматия по устной истории. СПб.: Изд-во Европ. ун-та в Санкт-Петербурге, 2003. С. 202–230.
- Разувалова А.* Писатели-«деревенщики»: литература и консервативная идеология 1970-х годов. М.: НЛЮ, 2015. 616 с.
- Розенталь Г.* Реконструкция рассказов о жизни: принципы отбора, которыми руководствуются рассказчики в биографических интервью // Лоскутова М.В. (сост., общ. ред.). Хрестоматия по устной истории. СПб.: Изд-во Европ. ун-та в Санкт-Петербурге, 2003. С. 322–355.
- Скотт Д.* Благими намерениями государства: почему и как провалились проекты улучшения условий человеческой жизни. М.: Университетская книга, 2005. 576 с.
- Тейлор Ч.* Что такое социальное воображаемое? // Неприкосновенный запас. 2010. № 1 (69). С. 19–26.
- Терборн Й.* От марксизма к постмарксизму? М.: ИД ВШЭ, 2021. 256 с.
- Топоров А.М.* Крестьяне о писателях. М.: Госиздат, 1930. 280 с.
- Филиппов Ф.Р.* Всеобщее среднее образование в СССР (социологические проблемы). М.: Мысль, 1976. 159 с.
- Bolotova A.* Colonization of Nature in the Soviet Union // Historical Social Research. 2004. Vol. 29. No. 3. P. 104–123.
- Clark K.* Soviet Novel: History as Ritual. Chicago, IL: Chicago University Press, 1981. 320 p.
- Cunningham H.* The Invention of Childhood. London: Ebury Publishing, 2006. 302 p.
- Davoliūtė V., Rudling O.* The Rustic Turn during Late Socialism and the Popular Movement against Soviet Rule // Canadian Slavonic Papers. 2023. Vol. 65. No. 1. P. 30–51. doi: 10.1080/00085006.2023.2172302.
- Eisenstadt S.N.* The Civilizational Dimension of Modernity: Modernity as a Distinct Civilization // International Sociology. 2001. Vol. 16. No. 3. P. 320–340.
- Ennker B.* Советский народ, сталинский режим и конституция 1936 года в политической истории Советского Союза // Soviet History Discussion Papers. 2014. No. 3. S. pag. <https://perspectivia.net/receive/ploneimport_mods_00011427>.
- Fitzpatrick S.* Ascribing Class: The Construction of Social Identity // Soviet Russia: The Journal of Modern History. 1993. Vol. 65. No. 4. P. 745–770.
- Foucault M.* Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972–1977 / Ed. by C. Gordon et al. New York: Pantheon Books, 1980. 271 p.
- Giddens A.* The Consequences of Modernity. Oxford: Polity Press, 1990. 188 p.
- Jones O.* Little Figures, Big Shadows: Country Childhood Stories // Cloke P., Little J. (eds.). Contested Countryside Cultures. London: Routledge, 1997. P. 152–172.

- Koselleck R.* *Vergangene Zukunft: Zur Semantik geschichtlicher Zeiten.* Frankfurt a. M.: Schurkamp, 1995. 389 p.
- Matthews H., Limb M.* *Defining an Agenda for the Geography of Children: Review and Prospect // Progress in Human Geography.* 1999. Vol. 23. No. 1. P. 61–90.
- Matthews H., Taylor M., Sherwood K., Tucker F., Limb M.* *Growing-up in the Countryside: Children and the Rural Idyll // Journal of Rural Studies.* 2000. Vol. 16. No. 2. P. 141–153. doi: 10.1016/S0743-0167(99)00059-5.
- McCormack J.* *Children's Understandings of Rurality: Exploring the Inter-relationship between Experience and Understanding // Journal of Rural Studies.* 2002. Vol. 18. No. 2. P. 193–207. doi: 10.1016/S0743-0167(01)00043-2.
- Melvin N.J.* *Soviet Power and the Countryside: Policy Innovation and Institutional Decay.* New York: Palgrave Macmillan, 2003. 279 p.
- Paretskaya A.* *A Middle Class without Capitalism? Socialist Ideology and Post-Collectivist Discourse in the Late-Soviet Era // Klumbyte N., Sharafutdinova G. (eds.). Soviet Society in the Era of Late Socialism, 1964–1985.* Lanham et al.: Lexington Books, 2012. P. 43–66. <<https://rowman.com/ISBN/9781498503860/Soviet-Society-in-the-Era-of-Late-Socialism-1964-1985>>.
- Parthé K.* *Russian Village Prose: The Radiant Past.* Princeton, NJ: Princeton University Press, 1992. 194 p.
- Paperno I.* *Stories of the Soviet Experience: Memoirs, Diaries, Dreams.* Ithaca, NY: Cornell University Press, 2009. 285 p.
- Paxson M.* *Solovyovo: The Story of Memory in a Russian Village.* Washington, D.C.; Bloomington, IN: Woodrow Wilson Center Press; Indiana University Press, 2005. 304 p.
- Pilkington H.* *Russia's Youth and It's Culture: A Nation's Constructors and Constructed.* London; New York: Routledge, 1994. 376 p.
- Powell M.A., Taylor N., Smith A.B.* *Constructions of Rural Childhood: Challenging Dominant Perspectives // Children's Geographies.* 2013. Vol. 11. No. 1. P. 117–131.
- Shanin T.* *Defining Peasants: Essays Concerning Rural Societies, Expolary Economies, and Learning from Them in the Contemporary World.* Oxford: Basil Blackwell, 1990. 348 p.
- Therborn G.* *Entangled Modernities // European Journal of Social Theory.* 2003. Vol. 6. No. 3. P. 293–305.
- Thomson P.* *The Voice of the Past: Oral History.* Oxford: Oxford University Press, 1978. 272 p.
- Tirado I.* *Peasants into Soviets: Reconstructing Komsomol Identity in the Russian Countryside of the 1920s // Acta Slavica Iaponica.* 2001. No. 18. P. 42–63.
- Voronina T.* *Space and Time in the Socialist Countryside: All-Union Anniversaries in Vologda Rural Schools during the 1960s and 1970s // Canadian Slavonic Papers.* 2023. Vol. 65. No. 1. P. 7–29. doi:10.1080/00085006.2023.2168422.
- Wagner P.* *Modernity as Experience and Interpretation: A New Sociology of Modernity.* Cambridge: Polity Press, 2008. 296 p.

- Walker M.* Southern Farmers and Their Stories: Memory and Meaning in Oral History. Lexington: The University Press of Kentucky, 2006. 230 p.
- Warner E., Adonyeva S.* We Remember, We Love, We Grieve: Mortuary and Memorial Practice in Contemporary Russia. Madison, WI: University of Wisconsin Press, 2021. 304 p.
- Weiner D.R.* A Little Corner of Freedom: Russian Nature Protection from Stalin to Gorbachev. Berkeley; Los Angeles; London: University of California Press, 1999. 570 p.

Non-Soviet Childhood in a Vologda Village: Narratives of the Past and the Cultural Geography of Late Socialism

Tatiana Voronina

Independent researcher
Grenchen, Switzerland
voronina1977@gmail.com

The subject of this paper is to examine how “rurality” is represented in accounts of childhood in Vologda villages during late socialism of the 1960s and 1970s. Interest is focused on how belonging to urban or rural culture affects remembrance and interpretation of rural daily life in late socialism. The analysis is based on an examination of interviews with individuals who were raised and grew up in rural parts of the Vologda Oblast in the 1960s and 1970s and then relocated to urban areas. Various discursive models used by respondents in stories about rural childhood are identified and correlated with the areas where the people concerned were socialised (urban or rural) by analyzing narrative descriptions of child labour, rural landscapes, nature, and beliefs about modernity. The article’s methodology is based on a theory of modernity according to which a certain vision of the future is established in society and hierarchies of social groups are created based on their differing positions on the scale of progress. Theories from cultural geography and narrative analysis of interview have also been incorporated into the work.

Keywords: rurality, narratives, childhood, late socialism, village.

References

- Alymov S., ‘Nesluchaynoe selo: sovetskie etnografy i kolkhozniki na puti “ot starogo k novomu” i obratno’ [A Non-Random Village: Soviet Ethnographers and Collective Farmers on the Path “From the Old to the New”

- and Back], *Novoe literaturnoe obozrenie*, 2010, no. 101, pp. 109–129. (In Russian).
- Alymov S., ‘The Concept of the ‘Survival’ and Soviet Social Science in the 1950s and 1960s’, *Forum for Anthropology and Culture*, 2013, no. 9, pp. 157–183.
- Assmann A., *Der lange Schatten der Vergangenheit: Erinnerungskultur und Geschichtspolitik*. München: Verlag C. H. Beck, 2006, 320 S.
- Baiburin A. K., *Sovetskiy pasport: istoriya — struktura — praktiki* [Soviet Passport: History — Structure — Practices]. St Petersburg: EUSP Press, 2017, 487 pp. (In Russian).
- Beznin M. A., *Krestyanskiy dvor v rossiyskom Nechernozemye v 1950–1965-e gody* [Peasant Farmstead in the Russian Non-Black Earth Region in the 1950s–1965s]. Vologda: Vologda Pedagogical Institute, 1991, 256 pp. (In Russian).
- Bogdanova E., ‘Antropologiya derevenskoy dvukhetazhki: ot issledovaniya zhilishcha k issledovaniyu soobshchestva’ [Anthropology of a Village Two-Story House: From Housing Research to Community Research], Bogdanova E., Brednikova O. (eds.), *Vdali ot gorodov: zhizn post-sovetskoy derevni* [Far from the Cities: Life in a Post-Soviet Village]. St Petersburg: Aleteya, 2013, pp. 105–126. (In Russian).
- Bolotova A., ‘Colonization of Nature in the Soviet Union’, *Historical Social Research*, 2004, vol. 29, no. 3, pp. 104–123.
- Brednikova O., ‘Derevnya umerla? Da zdravstvuet derevnya!’ [Is the Village Dead? Long Live the Village!], Bogdanova E., Brednikova O. (eds.), *Vdali ot gorodov: zhizn post-sovetskoy derevni* [Far from the Cities: Life of the Post-Soviet Village]. St Petersburg: Aleteya, 2013, pp. 28–59. (In Russian).
- Clark K., *Soviet Novel: History as Ritual*. Chicago, IL: Chicago University Press, 1981, 320 pp.
- Cunningham H., *The Invention of Childhood*. London: Ebury Publishing, 2006, 302 pp.
- David-Fox M., ‘Modernost v Rossii i SSSR: otsutstvuyushchaya, obshchaya, alternativnaya ili perepletennaya?’ [Russian—Soviet Modernity: None, Shared, Alternative, or Entangled?], *Novoe literaturnoe obozrenie*, 2016, no. 4 (140), pp. 19–45. (In Russian).
- Davoliūtė V., Rudling O., ‘The Rustic Turn during Late Socialism and the Popular Movement against Soviet Rule’, *Canadian Slavonic Papers*, 2023, vol. 65, no. 1, pp. 30–51. doi: 10.1080/00085006.2023.2172302.
- Denisova L., *Ischezayushchaya derevnya Rossii: nechernozeme v 1960–1980e gody* [The Disappearing Village of Russia: Non-Black Earth Region in the 1960s–1980s]. Moscow: Institute of Russian History RAS Press, 1996, 216 pp. (In Russian).
- Eisenstadt S. N., ‘The Civilizational Dimension of Modernity: Modernity as a Distinct Civilization’, *International Sociology*, 2001, vol. 16, no. 3, pp. 320–340.
- Ennker B., ‘Sovetskiy narod, stalinskiy rezhim i konstitutsiya 1936 goda v politicheskoy istorii Sovetskogo Soyuza’, *Soviet History Discussion Papers*, 2014, vol. 3, s. pag. <https://perspectivia.net/receive/ploneimport_mods_00011427>.

- Filippov F. R., *Vseobshchee srednee obrazovanie v SSSR (sotsiologicheskie problemy)* [Universal Secondary Education in the USSR (Sociological Problems)]. Moscow: Mysl, 1976, 159 pp. (In Russian).
- Fitzpatrick S., 'Ascribing Class: The Construction of Social Identity', *Soviet Russia: The Journal of Modern History*, 1993, vol. 65, no. 4, pp. 745–770.
- Foucault M., *Power / Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972–1977*, ed. by C. Gordon et al. New York: Pantheon Books, 1980, 271 pp.
- Giddens A., *The Consequences of Modernity*. Oxford: Polity Press, 1990, 188 pp.
- Gumbrecht H. U., 'Modern (Modernität, Moderne)', Brunner O., Conze W., Koselleck R. (Hrsg.), *Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland*. Stuttgart: E. Klett, 1978, Bd. 4, S. 1–131.
- Jones O., 'Little Figures, Big Shadows: Country Childhood Stories', Cloke P., Little J. (eds.), *Contested Countryside Cultures*. London: Routledge, 1997, pp. 152–172.
- Kelly C., 'Ob izuchenii istorii detstva v Rossii XIX–XX vv.' [On the Study of the History of Childhood in Russia in the 19th–20th centuries], Makarevich G. V. (comp.), *Kakoreya: iz istorii detstva v Rossii i drugikh stranakh* [Kakoreya: From the History of Childhood in Russia and Other Countries]: A coll. of articles and materials. Moscow; Tver: Nauchnaya kniga, 2008, pp. 8–46. (In Russian).
- Klots A., "Svetlyy put": institut domashnikh rabotnits kak migratsionnyy kanal i mekhanizm sotsialnoy mobilnosti epokhi stalinizma' ["The Bright Path": The Institute of Domestic Workers as a Migration Channel and Mechanism of Social Mobility in the Stalinist Era], *Novoe literaturnoe obozrenie*, 2012, no. 117, pp. 40–52. (In Russian).
- Koselleck R., *Vergangene Zukunft: Zur Semantik geschichtlicher Zeiten*. Frankfurt a. M.: Schurkamp, 1995, 389 pp.
- Maiofis M., 'Pansiony trudovykh rezervov: formirovanie sistemy shkol-internatov v 1956–64 godakh' [Boarding Schools for Labor Reserves: The Formation of the Boarding School System in 1956–64], *Novoe literaturnoe obozrenie*, 2016, no. 142, pp. 292–324. (In Russian).
- Marinicheva Yu., Veselova I., Adonyeva S., *Pervichnye znaki / naznachennaya realnost* [Primary Signs / Assigned Reality]. St Petersburg: Center of Vladimir Propp Press, 2017, 336 pp. (In Russian).
- Matthews H., Limb M., 'Defining an Agenda for the Geography of Children: Review and Prospect', *Progress in Human Geography*, 1999, vol. 23, no. 1, pp. 61–90.
- Matthews H., Taylor M., Sherwood K., Tucker F., Limb M., 'Growing-up in the Countryside: Children and the Rural Idyll', *Journal of Rural Studies*, 2000, vol. 16, no. 2, pp. 141–153. doi: 10.1016/S0743-0167(99)00059-5.
- McCormack J., 'Children's Understandings of Rurality: Exploring the Inter-relationship between Experience and Understanding', *Journal of Rural Studies*, 2002, vol. 18, no. 2, pp. 193–207. doi: 10.1016/S0743-0167(01)00043-2.
- Melnikova E. A., 'Biografii perezda iz goroda v derevnyu i ritorika samo-transformatsii v sovremennoy Rossii' [Biographies of Moving from the

- City to the Village and the Rhetoric of Self-transformation in Modern Russia], *Etnograficheskoe obozrenie*, 2020, no. 6, pp. 88–105. (In Russian).
- Melvin N. J., *Soviet Power and the Countryside: Policy Innovation and Institutional Decay*. New York: Palgrave Macmillan, 2003, 279 pp.
- Olson L. J., Adonyeva S., *The Worlds of Russian Village Women: Tradition, Transgression, Compromise*. Madison, WI; London: University of Wisconsin Press, 2013, 382 pp.
- Paperno I., *Stories of the Soviet Experience: Memoirs, Diaries, Dreams*. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2009, 285 pp.
- Paretskaya A., 'A Middle Class without Capitalism? Socialist Ideology and Post-Collectivist Discourse in the Late-Soviet Era', Klumbyte N., Sharafutdinova G. (eds.), *Soviet Society in the Era of Late Socialism, 1964–1985*. Lanham et al.: Lexington Books, 2012, pp. 43–66. <[https://rowman.com/ISBN/9781498503860/Soviet-Society-in-the-Era-of-Late-Socialism-1964–1985](https://rowman.com/ISBN/9781498503860/Soviet-Society-in-the-Era-of-Late-Socialism-1964-1985)>.
- Parthé K., *Russian Village Prose: The Radiant Past*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1992, 194 pp.
- Paxson M., *Solovyovo: The Story of Memory in a Russian Village*. Washington, D.C.; Bloomington, IN: Woodrow Wilson Center Press; Indiana University Press, 2005, 304 pp.
- Petriashin S., 'Sotsrealizm i etnografiya: izuchenie i reprezentatsiya sovetskoy sovremennosti v etnograficheskom muzee 1930-kh gg.' [Socialist Realism and Ethnography: The Study and Representation of Soviet Contemporaneity in Ethnographic Museums in the 1930s], *Antropologicheskij forum*, 2018, no. 39, pp. 143–175. doi: 10.31250/1815-8870-2018-14-39-143-175. (In Russian).
- Piketty T., *Une brève histoire de l'égalité*. Paris: Ed. du Seuil, 2021, 350 pp.
- Pilkington H., *Russia's Youth and It's Culture: A Nation's Constructors and Constructed*. London; New York: Routledge, 1994, 376 pp.
- Portelli A., 'The Death of Luigi Trastulli: Memory and Evant', Portelli A., *The Death of Luigi Trastulli and Other Stories: Form and Meaning in Oral History*. New York: State University of New York Press, 1991, pp. 1–28.
- Powell M. A., Taylor N., Smith A. B., 'Constructions of Rural Childhood: Challenging Dominant Perspectives', *Children's Geographies*, 2013, vol. 11, no. 1, pp. 117–131.
- Razuvalova A., *Pisateli—"derevenshchiki": literatura i konservativnaya ideologiya 1970-kh godov* ["Village Writers": Literature and Conservative Ideology of the 1970s]. Moscow: NLO, 2015, 616 pp. (In Russian).
- Rosenthal G., 'Reconstruction of Life Stories. Principles of Selection in Generating Stories for Narrative Biographical Interviews', *The Narrative Study of Lives*, 1993, vol. 1, no. 1, pp. 59–91.
- Scott J., *Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed*. New Haven, CT: Yale University Press, 1998, 464 pp.
- Shanin T., *Defining Peasants. Essays Concerning Rural Societies, Expolary Economies, and Learning from them in the Contemporary World*. Oxford: Basil Blackwell, 1990, 348 pp.

- Taylor C., 'Chto takoe sotsialnoe voobrazhaemoe?' [What Is the Social Imaginary?], *Neprikosnovennyi zapas*, 2010, no. 1 (69), pp. 19–26. (In Russian).
- Therborn G., 'Entangled Modernities', *European Journal of Social Theory*, 2003, vol. 6, no. 3, pp. 293–305.
- Therborn G., *From Marxism to Post-Marxism*. London: Verso, 2008, 195 pp.
- Thomson P., *The Voice of the Past: Oral History*. Oxford: Oxford University Press, 1978, 272 pp.
- Tirado I., 'Peasants into Soviets: Reconstructing Komsomol Identity in the Russian Countryside of the 1920s', *Acta Slavica Iaponica*, 2001, no. 18, pp. 42–63.
- Toporov A. M., *Krestyane o pisatelyakh* [Peasants about Writers]. Moscow: Gosizdat, 1930, 280 pp. (In Russian).
- Voronina T., 'Space and Time in the Socialist Countryside: All-Union Anniversaries in Vologda Rural Schools during the 1960s and 1970s', *Canadian Slavonic Papers*, 2023, vol. 65, no. 1, pp. 7–29. doi:10.1080/00085006.2023.2168422.
- Wagner P., *Modernity as Experience and Interpretation: A New Sociology of Modernity*. Cambridge: Polity Press, 2008, 296 pp.
- Walker M., *Southern Farmers and Their Stories: Memory and Meaning in Oral History*. Lexington: The University Press of Kentucky, 2006, 230 pp.
- Warner E., Adonyeva S., *We Remember, We Love, We Grieve: Mortuary and Memorial Practice in Contemporary Russia*. Madison, WI: University of Wisconsin Press, 2021, 304 pp.
- Weiner D. R., *A Little Corner of Freedom: Russian Nature Protection from Stalin to Gorbachev*. Berkeley, CA; Los Angeles, CA; London: University of California Press, 1999, 570 pp.
- Zorin A., *Poyavlenie geroya: Iz istorii russkoy emotsionalnoy kultury kontsa XVIII — nachala XIX veka* [The Emergence of the Hero: From the History of Russian Emotional Culture of the Late 18th — Early 19th Centuries]. Moscow: NLO, 2016, 568 pp. (In Russian).